

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЗМА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЦИКЛА «ЮЖНЫХ ПОЭМ» А. С. ПУШКИНА

Виктор Георгиевич Одинокое (Новосибирск)

Проблема историзма, связанная с русской романтической поэзией, не имеет четко очерченных исследовательских границ, поскольку и сам романтизм на российской национальной почве – явление чрезвычайно многоликое и с типологической точки зрения, если к тому же учесть многообразную и подчас противоречивую конкретику, трудно сводимое к единообразной схеме¹.

Пушкин в своем движении «от романтизма к реализму» поставил перед литературоведами несколько задач, которые не решены окончательно до сих пор. Одна из таких задач связана с проблемой историзма пушкинской поэзии в романтический период его творчества. Она проступает особенно четко в контексте цикла южных поэм, среди которых следует выделить «Кавказского пленника», «Бахчисарайский Фонтан», «Цыган», в совокупности составляющих органичный художественный ансамбль, на что обращали внимание многие исследователи, в том числе В. Ф. Переверзев, для которого все поэмы Пушкина представляли единую систему, характеризуемую как «поэмотворческий путь Пушкина»².

Рассматривая «батальный пафос», проступавший в некоторых лирических отступлениях пушкинских «экзотических поэм», ученый замечает, что это не дань архаической поэтике классицизма, не чахлый пережиток выродившейся героической оды, а зачаток «новой исторической поэмы, находящейся в недрах экзотической поэмы в эмбриональном состоянии»³. К сожалению, В. Ф. Переверзев не предусмотрел одного обстоятельства – «эмбрион» развился и обрел историческую плоть и фигуру уже внутри текста поэмы «Кавказский пленник» благодаря трансформации образно-поэтической структуры произведения. Обратим прежде всего внимание на проблемно-стилистические «разломы» текста поэмы, которые создают «многоголосие», разрушая «единодержавие» одного субъекта. Вполне четко выделяются, кроме

¹ См.: Фохт У. Р. Спорные вопросы развития романтизма в русской литературе XIX века // Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 259 – 262.

² См.: Переверзев В. Ф. Поэмотворческий путь Пушкина // У истоков русского реализма. М., 1989. С. 153 – 278.

³ Там же, с. 208.

заглавия и подзаголовка, четыре фрагмента текста: посвящение; основная часть, состоящая из двух глав; знаменитый, много раз полемически оспоренный эпилог и примечания. Что касается примечаний, они составляют органичную часть текста произведений Пушкина, и литературоведы не высказывают по этому поводу иного мнения. Читатель, по существу, имеет перед собой своеобразную тетралогию, в которой исторический акцент поставлен на Эпилоге. Он-то и оказался в центре тех споров, которые развернулись вокруг исторической точки зрения Пушкина на события Кавказской войны.

Современники Пушкина так или иначе выделяли Эпилог как некое самостоятельное поэтическое целое, хотя мало кто сумел оценить его по достоинству. Поэт, журналист, критик В. И. Козлов в своей рецензии на поэму процитировал целиком строки Эпилога, заметив при этом, что «заключение» составляет «как бы отдельное целое»⁴. В дальнейшем эта мысль находит продолжение в работах многих литературоведов. Так, например, В. Ф. Переверзев в упомянутой выше работе утверждал: «...Эпилог производит впечатление какого-то нелогичного хода, звучит диссонансом: начато, как говорится, за здравие, а кончилось за упокой. Сюжет поэмы и его развитие плохо вяжутся с одой на победу и одоление Кавказа, которой поэт заключил в виде эпилога свое произведение. Он кажется каким-то инородным телом в составе поэмы, свидетельствуя о том, что в ней еще не сведены концы с концами. Отношение к культуре и натуре еще не определилось, носит двойственный, неуверенный характер, полно сомнений и колебаний»⁵.

К такой постановке вопроса следует отнести достаточно настороженно, поскольку факты говорят о другом. Попробуем в этом разобраться. Начнем с пушкинской самооценки. Весьма осторожный и ироничный в такого рода высказываниях, Пушкин в данном случае весьма категоричен. В Кавказском дневнике поэта есть такие строки: «Здесь нашел я у ком[енданта] рукопись Кавказского Пленника и, признаюсь, перечел его с удовольствием. Все это мол[одо], многое неполно, но многое угадано. – Сам не понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо, изобразить нравы и природу, виденные мною издали»⁶. Эта реплика в несколько сокращенном виде вошла и в очерк «Путешествие в Арзрум». Действительно, Пушкин многое

4 Козлов В. И. «Кавказский пленник», повесть. Соч. А. Пушкина // Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. СПб., 1996. С. 114.

5 Переверзев В. Ф. У истоков русского реализма. С. 184.

6 Левкович Я. Л. Кавказский дневник Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С. 24.

угадал, и не только «виденные издали» нравы и природу, но и суть исторических событий, связанных с Кавказской войной.

В. Г. Белинский, который обратил особое внимание на самооценку поэта и считал ее «лучшей критикой», не сомневался в ее историко-литературном значении и подчеркивал при этом, что «Кавказский пленник» есть поэма «историческая». ⁷ В данном случае Белинский учел не только поэтический «фон», но и образ Пленника, которого невозможно отделить от исторического эпилога. Это очень важный момент, которым не следует пренебрегать. Б. М. Гаспаров в своем исследовании поэтического языка Пушкина, указав на то, что с точки зрения канона романтического повествования обстоятельства «экзотического приключения» совершенно «нейтральны», подчеркнул весьма справедливо особый смысл эпизода пленения героя и тех условий, которые спровоцировали эту акцию. Б. М. Гаспаров пишет: «Но для Пушкина тот факт, что его герой попадает в плен в качестве солдата завоевательной армии, имеет свою необходимую валентность. В содержание романтической повести этот факт потенциально вносит тему завоевания Россией восточных земель и народов, а вместе с ней – литературный модус одической традиции, воспевающей победы над ‚Магометом‘. Это поле ассоциаций получает реализацию в Эпизоге. Экзотический колорит романтического повествования совмещается с классицистической героикой покорения Востока. В этом наложении образ «завоевания» героем романтически-безыскусной «девы» проецируется на образ подчинения экзотического «дикого» края сакральному космосу империи». ⁸

К этому впечатляющему пассажи вроде бы уже нечего добавить, поскольку концы с концами в нем сведены очень точно. Однако между высшим уровнем рефлексии и эмпирикой проходящих перед глазами читателей исторических событий есть еще один слой исторических реалий, на которые и обратил внимание Пушкин. Эти реалии играли огромную роль в том событийном потоке, какой представляла Кавказская война в своей «бесконечной» протяженности. И одной из таких реалий, может быть важнейшей, был «духовный склад» кавказских народов, их менталитет. Именно через него Пушкин разглядел вечный, «бытийный» смысл войны и поведал о нем читателям. Он сумел прояснить экзистенциальную подоплеку процесса «самоистребления» народов Кавказа.

⁷ Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина // Собр. соч. в 9-ти т. Т. 6. М., 1981. С. 315.

⁸ Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка // Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 27. Wien, 1992. S. 295.

Значительно позже, в письме к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г., Пушкин заметит, что войны и даже удельные усобицы – это жизнь, «полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов».⁹ Конкретную расшифровку этой мысли можно найти в «Примечаниях» к поэме «Кавказский пленник». В свое время Ю. Н. Тынянов обратил внимание на этот «добавочный» материал и выделил в нем процитированные автором поэмы строки В. А. Жуковского из послания А. Ф. Воейкову, которое, по мнению Тынянова, «было действительным пушкинским источником».¹⁰ Во всяком случае, стихи Жуковского, характеризующие менталитет горцев, точно соотносились с личным опытом Пушкина и сформировали ядро его социально-психологической концепции, которая позже прозвучала в письме к Чаадаеву. Стихи эти следующие:

Но дни в аулах их бредут
 На костылях угрюмой лени:
 Там жизнь их сон...

Но сон, как известно, может длиться бесконечно только в одном случае. Горцы же – народ импульсивный и горячий. Их «кипучее брожение», их «пылкая и бесцельная деятельность» прорывались сквозь сон и разрушали атмосферу «угрюмой лени», То была война. Война не как социально-исторический феномен, а как экзистенциальный. В стихотворении Жуковского об этом сказано так:

Пищаль, кольчуга, сабля, лук
 И конь – соратник быстроногий
 Их и сокровища и боги...

Таково бытие этих «младенствующих» с точки зрения цивилизации народов и такова их «ценностная» ориентация. Пушкин эту ситуацию четко прописал в «Кавказском пленнике»:

Но скучен мир однообразный
 Сердцам, рожденным для войны,
 И часто игры воли праздной
 Игрой жестокой смущены.
 Нередко шашки грозно блещут
 В безумной резвости пиров,
 И в прах летят главы рабов,
 И в радости младенцы плещут.

Здесь все полно значения: и сердца, рожденные для войны, и игры воли праздной, и безумная резвость пиров, когда слетают головы

⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. X. Л., 1979. С. 465. Письмо на фр. языке. См. также: Греков Б. Д. Исторические воззрения Пушкина // Исторические записки. Т. I. М., 1937. С. 4-5.

¹⁰ Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 176.

рабов, но особенно замечательна реплика о младенцах. С таким народом едва ли было возможно полюбовное замирение в тот момент, когда «на Тереке седом // Впервые грянул битвы гром». Транспонирование описанной ситуации в экзистенциальный план открывало путь к аналогичной интерпретации вообще всех военных действий. Дело в том, что «пограничное» состояние духа свойственно не только детям природы, но и представителям «высоких» цивилизаций. В 1821 году Пушкин пишет показательное в этом отношении стихотворение «Война». Это произведение не о какой-то конкретной войне, а войне вообще. И она в этом качестве обнаруживает скрытые до времени потенции, которые цивилизация старается не акцентировать, придумывая всякого рода благопристойные толкования происходящего. Но оно в типических формах повторяется из века в век. И цивилизованное сознание не оказывается помехой. Пушкин в этом стихотворении говорит: «Война! Подъяты наконец//Шумят знамена бранной чести!//Увижу кровь, увижу праздник мести;//Засвищет вокруг меня губительный свинец//И сколько сильных впечатлений//Для жаждущей души моей://Стремленье бурных ополчений,//Тревоги стана, звук мечей,//И в роковом огне сражений//Паденье ратных и вождей!//Предметы гордых песнопений//Разбудят мой уснувший гений».

Заканчивается стихотворение следующими впечатляющими строками:

Покой бежит меня; нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?..

Из контекста стихотворения видно, что «война» не локализована и не обрела событийно-исторического лика. «Губительный свинец» мирно уживается в «огне сражений» со «звуком мечей». Совершенно некорректно в этом плане предьявлять Пушкину какие-либо претензии, так как вся суть стихотворения заключена в напряженном внутреннем конфликте субъекта повествования, о котором известно только то, что он воин. Его психологическое состояние четко выявляется, если «состыковать» разведенные Пушкиным строки, несколько изменив при этом порядок слов. Итак, описать это состояние можно следующим образом: «Меня бежит покой // Что ж медлит ужас боевой?» Это состояние противопоставлено «тягостной лени» и апатичному безволию. Происходит резкий сдвиг в другую психологическую тональность: «тягостная лень» преодолевается «боевым ужасом». В итоге мы имеем ту экзистенциальную модель, которая прописана в «Кавказском пленнике»: жизнь-сон «на костылях угрюмой лени» сменяется «смерти грозным ожиданьем». «Отрицательная» энергия покоя трансформируется в «положительную» энергию движения. Но

если этот экзистенциальный комплекс характерен для представителей элитарной культуры, для «детей природы» он представляет суть их бытия.

Описанный комплекс был одной из важнейших составляющих менталитета горских народов. И Пушкин-историк на данную ситуацию обратил особое внимание, намного опережая в этом плане своих современников. Известный российский ученый А. Я. Гуревич в монографии, посвященной исторической школе «Анналов», ссылаясь на мнение одного из лидеров школы Ле Гоффа, отмечает: «Историк ментальностей, говорит Ле Гофф, обращает сугубое внимание на неосознанное, повседневное, на автоматизм поведения, на вневлические аспекты индивидуального сознания...»¹¹. Именно такого рода психологические механизмы и действовали в Кавказской войне, на что Пушкин указал задолго до того, как теоретическая мысль оказалась способной их вычислить. Он же точно обозначил и социальные последствия, которые в истоках своих связаны с менталитетом. Здесь следует подчеркнуть, что «природосообразное» поведение горцев, их постоянная готовность к войне и реализация в разных акциях этой готовности вызвали со стороны России соответствующую реакцию, имевшую, конечно, множество и других аспектов, но сводимую к простейшему психологическому комплексу, ставшему взрывоопасным в связи со сложившейся геополитической обстановкой в России в первой трети XIX века.

Вступление России в войну с горцами создало чрезвычайно сложную ситуацию, когда ни одна из сторон не могла достойно выйти из конфликта. Пушкин, наблюдая это положение, прекрасно понимал, что при реальном соотношении сил рано или поздно война закончится победой русских, но в соответствии с неизбежной исторической закономерностью, которую никто не мог в данный момент изменить, за это нужно заплатить кровью за кровь. Правда, до конца войны было еще очень далеко, но поэт, опережая время и в этом плане, скажет в Эпиллоге: «И смолкнул ярый крик войны...»

Итак, допустим, «смолкнул ярый крик войны». Как Пушкин мыслил дальнейшее мирное сосуществование, на какую духовную почву оно должно было опереться? Друг поэта П. А. Вяземский по поводу Эпиллога сделал весьма резкое неодобрительное замечание, которое касалось именно исторической перспективы взаимоотношений России и Кавказа: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи в своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов?.. Что тут хорошего, что он, *Как черная зараза, губил, ничтожил племена?* От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если

¹¹ Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 194.

бы мы просвещали племена, то было бы что воспеть. Поэзия – не союзница палачей...»¹².

Пушкин, конечно, все это понимал и ощущал горечь кровопролития, но вместе с тем он предвидел позитивный выход – торжество мира, когда наступит баланс экономических, социальных, политических, духовных факторов. Именно такой финал изображен в последних строках Эпилога: «Изменит прадедам Кавказ // Забудет алчной брани глас // Оставит стрелы боевые».

Историческая интуиция подсказывала поэту мысль о возможности снятия противоречий в результате «глобального» процесса гармонизации отношений во всемирно-гражданском плане. Эту идею следует особо выделить, поскольку она получила еще до Пушкина глубокое осмысление в философско-исторической литературе. На ней сосредоточил внимание И. Кант, который в 1784 году писал: «Проблема создания совершенного гражданского устройства зависит от проблемы установления законосообразных внешних отношений между государствами и без решения этой последней не может быть решена»¹³. Идеальная модель мирового гражданского устройства, по Канту, учитывает всеобщую целесообразность, в результате которой антагонизмы различных обществ и ассоциаций снимаются в конечном синтезе. На эту тему приведем следующее высказывание философа: «Природа, таким образом, ... использовала неуживчивость людей, даже больших обществ и государственных организмов этого рода существ как средство для того, чтобы в неизбежном антагонизме между ними найти состояние покоя и безопасности; другими словами, она посредством войн и требующей чрезвычайного напряжения, никогда не ослабевающей подготовки к ним, посредством бедствий, которые из-за этого должны даже в мирное время ощущаться внутри каждого государства, побуждает сначала к несовершенным попыткам, но в конце концов после многих опустошений, разрушений и даже полного внутреннего истощения сил к тому, что разум мог бы подсказать им без столь печального опыта, а именно выйти из не знающего законов состояния диких и вступить в союз народов, где каждое, даже самое маленькое, государство могло бы ожидать своей безопасности и прав не от своих собственных сил или собственного справедливого суждения, исключительно от такого великого союза народов..., от объединенной мощи и от решения в соответствии с законами объединенной воли». Далее следует пояснение: «С этой точки зрения все войны представляют собой многочисленные попытки (правда, не

¹² Временник Пушкинской комиссии. М. - Л., 1941. С. 229.

¹³ Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Философия истории. Антология. М., 1995. С. 63.

как цель человека, а как цель природы) создать новые отношения между государствами и посредством разрушения или хотя бы раздробления всех образовать новые объединения...»¹⁴. Такого рода сбалансированность зиждется на закономерности, которая, по мнению И. Канта, состоит в том, что «природа идет своим закономерным порядком, приводя наш род постепенно от низшей степени животности к высшей степени – человечности, и при том с помощью собственного, хотя и вынужденного, искусства человека...»¹⁵.

Прогнозируемый Пушкиным мир, о котором он поведал в приведенных последних стихах Эпилога, вытекал из идеи согласия как итогового баланса сил в процессе решения противоречий крупного исторического масштаба. Исход локального конфликта осмысливался Пушкиным в системе исторических универсалий. Это говорит о том, что поэту была доступна глубина философско-исторического мышления, какая была присуща кенигсбергскому мудрецу, почитаемому многими русскими писателями. В этой сложности, очевидно, и заключалась та причина, которая породила недоуменное восклицание Вяземского относительно Эпилога «Кавказского пленника».

Что же касается реплики Вяземского по поводу просвещения горских племен, на нее Пушкин ответил по существу. Этот ответ распадается на два этапа. Первый представляет собой художественный эксперимент, когда автор вводит в «естественную» среду вполне европейского человека, представляющего готовый «байронический» тип личности. На эту тему, как известно, написано множество работ. Но в данной ситуации, как правило, внимание обращалось почему-то на положительное влияние новой для героя «экзотической» среды и его духовное обновление. Так, например, Г. М. Фридендер отметил, что у Пушкина возникает чувство того, что конфликт между центральными персонажами поэмы «в определенной мере был целителен для героя, пробудил в нем зачатки более высокой человечности, более глубокого интеллектуального отношения к миру»¹⁶. Казалось бы, все должно быть наоборот. Тогда в чем же смысл такого парадокса? Очевидно, европейский человек байронического «склада» со своей культурой и менталитетом в «естественной» среде производит не созидательную, а разрушительную работу. Недаром симпатии критики были отданы Черкешенке, поскольку Пленник, разрушив ее духовный и душевный мир, ничем это разрушенное не возместил. Вырвав ее из среды «угрюмой лени» и «сна», он превратил ее в рабу пового, чужого

¹⁴ Там же. С. 63.

¹⁵ Там же. С. 64.

¹⁶ Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974. С. 15.

для нее чувства со всеми вытекающими трагическими последствиями. Черкешенка вступает в конфликт не столько с героем, сколько со своей средой, и гибнет. Ее «прозрение» стоит ей жизни. Таким образом драма героя в поэтическом плане провоцирует трагедию геронни.

Таков конечный итог вторжения разочарованного «байронического» героя в духовную сферу «младенствующего» народа. Но этим эксперимент не заканчивался. Пушкин повторил его с некоторыми изменениями первоначальных условий в поэме «Цыганы». Результат оказался аналогичным. И финал прозвучал как приговор: «Но жить с убийцей не хотим». Алеко был «отвергнут цыганами как человек другой, чуждой им культуры и душевного склада»¹⁷. Окончательный приговор такого рода жизненному и литературному типу произнес Ф. М. Достоевский: «И что же оказывается: при первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он (Алеко – В. О.) не выдерживает и обгаряет свои руки кровью. Не только для мировой гармонии (здесь полезно вспомнить И. Канта – В. О.), но даже для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его – без отщепеня, без злобы, величаво и простодушно... Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то человек» реален и метко схвачен»¹⁸. И очевидно, не этот тип личности, не «нынешняя наша цивилизация», не «европейское» образование, не внешне усвоенные европейские «идеи и формы» должны, по мнению Достоевского, привести к гармонии и согласному взаимопониманию. Пушкин уже в романтический период задумывался над проблемой единения людей, над возможностью сбалансировать разные духовные потенциалы и ментальности. В качестве одного из вариантов такого единения поэт представил возможность влияния «высокой духовности» на сознание восточного деспота в поэме «Бахчисарайский фонтан». В ней, по утверждению В. Г. Белинского, в общих чертах проступает грандиозная идея, которую можно сформулировать следующим образом: «перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви»¹⁹.

Полезно обратить внимание на то, что Мария, пленница хана Гирея, перевернувшая, по выражению Белинского, «вверх дном татарскую натуру деспота-разбойника», не только человек иной, более высокой культуры, но и *христианка*. В поэме этот мотив проработан достаточно подробно. Мария, что особенно важно отметить, превратила ханский «вертеп» в монастырскую «келью». И ее соперница

¹⁷ Там же. С. 19.

¹⁸ Достоевский Ф. М. Пушкин. Очерк // Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. 26. Л., 1984. С. 139.

¹⁹ Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 6. М., 1981. С. 318.

грузинка Зарема, забывшая веру своих предков, войдя в «келью», озарилась новым для нее, неведомым чувством. Она вдруг вспомнила утраченную веру, христианскую веру своей матери, когда вошла в покои Марии как в храм.

Свет, идущий от лампы, от лика Пречистой девы, от Святого креста, проник в темные глубины души Заремы. И тут-то она вспомнила о вере, которая стерлась из ее памяти после дней жизни «между невольницами хана». Необходимо пояснить, что Грузинская церковь – одна из древних христианских церквей. Поэтому Зарема и говорит Марии: «Но вера матери моей // Была твоя...»

Внутренний конфликт Заремы прорисовывается Пушкиным как столкновение пробудившейся материнской веры («забыла веру прежних дней») и страстного, гипнотического чувства к восточному деспоту. Это чувство в конечном итоге приводит ее к гибели, но автор поэмы не зачеркивает и другой вариант судьбы героини, который просматривается как «возможность» духовного возрождения через христианскую веру. Правда, кроме сообщения о жестоком ритуале смерти, о Зареме мы ничего не знаем, но зато о Марии сказано: «Она давно желанный свет // Как новый ангел озарила». Во всех этих ассоциативных связях само имя Марии перекликается с именем Пречистой девы, к которой и обращено «моление» Заремы. Пушкин до конца не реализовал в тексте поэмы все намеченные важные для него смыслы. Они образовали своеобразную «ауру», которую критика предпочла не заметить. Доходило до комического: П. А. Катенин в письме к Н. И. Бахтину от 13 июля 1824 года сообщает о своем впечатлении от чтения «Бахчисарайского фонтана»: «... Фонтан что такое, и сказать не умею; смыслу вовсе нет... что за Мария? что за Зарема? как они умирают? Никто ничего не знает, одним словом это *romantique*»²⁰. Впрочем, и последующие критики и исследователи обходили культурно-философскую проблематику, затронутую Пушкиным в поэме, очевидно считая, что все это «*romantique*». Однако, даже беглый взгляд поэта на проблему соотношения «натуры и культуры» был важным узловым моментом в развитии проблемы менталитета и культуры, обладающей высоким духовным потенциалом. Все отмеченные нюансы проблемы сфокусированы Пушкиным в очерке «Путешествие в Арзрум». Возвращаясь к событиям Кавказской войны, автор очерка рассматривает события в перспективе мирного решения конфликта на основе духовного паритета, которого можно достичь через влияние иной, более высокой культуры, приводящей, как это было замечено И. Кантом, к гражданскому союзу.

²⁰ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. Л., 1991. С. 436–437.

В очерке, в котором описываемые события относятся к 1829 году, Пушкин констатирует: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены... Здешняя сторона полна молвой о их злодеяниях. Почти нет никакого способа их усмирить...»²¹. И Пушкин задается вопросом: что делать с таким народом? Учитывая политико-экономические влияния, он все-таки главным считает духовное воздействие. Поскольку сложившееся положение противостоящих сил завело враждующие стороны в тупик, нужно было, по мнению Пушкина, сформировать и объединить силы духовного влияния, вплоть до миссионерской деятельности. Он замечает, что наряду с различными бескровными способами прекращения затянувшегося конфликта может быть и распространение евангельского учения. Вот что пишет Пушкин: «Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия»²². В Кавказском дневнике Пушкина имеются дополняющие эту идею соображения: «Герпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве Апостольство с нею несовместно? Разве истина дана для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, – и никто еще из нас не подумал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, донныне лишенным света истинного. Легче для нашей холодной лености взамену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. – Нам тяжело странствовать между ими, подвергаясь трудам, опасностям по примеру древних Апостолов и новейших рим[ско]-кат[олических] миссионеров»²³. Пушкин, как отмечают исследователи, мог воочию наблюдать «апостольство» на Кавказе в 1829 году. Он обнаружил его среди шотландских колонистов Пятигорска, организовавших «Российское библейское общество», закрытое впоследствии из-за наветов Шишкова и Аракчеева, которые усмотрели в нем аналог декабристских объединений²⁴.

Все приведенные факты могут служить своеобразным ответом Пушкина на упреки Вяземского, которые тот высказал в цитированном выше письме. Но и это еще не все. Пушкин развил тему христианского миссионерства в незаконченной поэме «Тазит», которая создавалась в конце 1829-го – начале 1830-го года. Герой поэмы Тазит

21 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. 6. Л., 1978. С. 438.

22 Там же. С. 439.

23 Левкович Я. Л. Кавказский дневник Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С. 22.

24 См.: Комарович В. Л. Вторая кавказская поэма Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. М.-Л., 1941. С. 231.

в истолковании автора воплощает ментальность, чуждую его горскому племени. Пушкину важна была, очевидно, духовная ориентация этого представителя «младенствующего народа», которая, по замыслу, должна была привести его в лоно христианства. Поэт закрепил свою идею в наброске плана поэмы: «Черкес христианин»²⁵.

Надежды на положительный результат христианской миссионерской деятельности связывались у Пушкина с уверенностью в том, что некоторые горские племена Кавказа были не сильны в магометанской вере²⁶. Конечным пунктом рассуждений Пушкина о Кавказской войне является, таким образом, не пропаганда имперского способа решения конфликта, даже с учетом сакрального оттенка царской власти в России, а добровольный контакт с участием не средств истребления людей, а средств религиозного влияния, в котором принимают участие духовные пастыри. Такой вывод завершает по существу центральную историческую мысль Пушкина, оформленную в цикле южных поэм способом сочетания многоаспектных уровней поэтики как отдельных произведений, так и цикла в целом.

Пушкин, как видим, прорывается через пограничные «заслоны» романтической эстетики слова, которая ему, впрочем, нисколько не мешает, а даже помогает, расширяя инструментарий художественной выразительности, что потом отзовется в творчестве М. Ю. Лермонтова и далее – Ф. М. Достоевского с его устремленностью к реализму в «высшем смысле».

Со своей экзотической «азиатской» темой Пушкин органично вписался в мировой исторический и литературный процесс, оставив вместе с тем множество проблем, над которыми человечество работает и сейчас и которые стали животрепещущим объектом не только для историков, культурологов, литературоведов, но и для политиков практического уклона. После «Тазита» поэт отошел от разрабатываемой им темы, связанной с национальным характером и менталитетом людей «азиатского региона». Но он не оставил в покое своего европеизированного, «байронического» героя, сообщив ему тот заряд потенциальной энергии, который сделал его живым явлением в сознании будущих поколений.

²⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. IV. Л., 1978. С. 425.

²⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. VI. Л., 1978. С. 439.